

Leeuwen-Turnovcová, J. van/Richter, N. (Hrsg.) 2006. Entwicklung slawischer Literatursprachen, Diglossie, Gender (Literalität von Frauen und Standardisierungsprozesse im slawischen Areal)
Beiträge des Kolloquiums an der FSU-Jena, Dezember 2004, S. 47-59.

ЛИТЕРАТУРНО-ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ XVIII ВЕКА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Наталья Н. Запольская, *Институт славяноведения РАН, Москва*

Смена типа культуры предполагает смену типа словесной культуры: смену типа императивных текстов, типа литературного языка, типа литературно-языковой рефлексии, типа кодификаторов литературно-языковых норм.

Конфессиональная христианская культура была основана на авторитетных библейских текстах, возникших как свидетельство истинности Слова Бога, обращенного к людям. Императивными литературными языками христианской культуры были библейские языки, основной функцией которых явилась лингвистическая функция. Освоение императивных текстов и императивных языков носило мнемонический характер и происходило в процессе лингвистической практики, а литературно-языковая рефлексия была направлена на поддержание «правильности» этих текстов и языков. Общий лингвистический опыт действитель но переходил в общий литературно-языковой опыт, если лингвистический язык был в той или иной степени ориентирован на «свой» живой язык: таким языком в IX веке стал церковнославянский, созданный как язык «своего», славянского, богослужения. На Руси, входившей в культурно-языковое пространство Slavia Orthodoxa, общий характер носило и «начальное» формальное освоение церковнославянского языка, содержанием которого являлось обучение навыкам чтения и письма (доказательством могут служить берестяные грамоты, написанные мужчинами и женщинами разной социальной принадлежности и разных возрастов). Дальнейшее движение по пути литературно-языковой образованности, предполагавшее владение орфографическими и грамматическими нормами языка и знакомство с разными жанрами христианской литературы, имело социальные, гендерные и личностные ограничения. Активное вхождение женщин в «высокую» литературно-языковую культуру было редким явлением на Руси, которое требовало осмыслиения и фиксации. Так, в житии Евфросинии Полоцкой, излагавшем путь духовного восхождения святой, которая в возрасте 12 лет постриглась в монахи, а впоследствии основала мужской и женский монастыри в Полоцке, особо подчеркивалось, что она была научена «книжному писанию» и «начат подвиг постнический восприимати, начат книги писати своими руками, наем емлющи, требующим даяше» (цит. по: Степенная книга 1908, 209).

Переход от конфессиональной культуры к секулярной, проходивший в России в петровскую эпоху, задал переход от статичного императива библейских текстов к динамичному императиву авторских текстов, от правильного церковнославянского языка к понятному русскому литературному языку. В новых культурных условиях освоение текстов и языка требовало уже формального светского гуманитарного образования, которое

постепенно становилось нормой не только для мужчин, но и для женщин, в первую очередь для тех, кто принадлежал культурной элите.

Начало последовательной литературно-языковой рефлексии и литературно-языковой практики в России относится к 30-40 гг. XVIII в., поскольку именно в этот период сложилась система литературно-языковых проблем, решением которых в контексте культурно-языковых традиций или новаций занималась культурная элита на протяжении всего столетия: проблема «природы» нового русского литературного языка, определившая конкуренцию двух концепций – концепции субстанционального различия церковнославянского языка и нового русского литературного языка и концепции субстанциональной общности этих языков, проблема дифференциации языка прозы и языка поэзии посредством введения «поэтических вольностей», проблема стилей, актуализировавшая идею «простоты» и «украшенности» литературного языка, проблема культурной значимости разных литературных жанров (см. подробно: Успенский 1985; Живов 1996).

В середине XVIII в. интеллигентская аристократия России пришла к осознанию «своей» позиции в европейском культурно-языковом пространстве и, как следствие, к необходимости созидания «своей» просветительской дворянской культуры. Время активного построения «культуры ума и морали» явилось временем, формирующим и тип «культурной женщины» – «женщины читающей и пишущей».

Точкой отсчета воспитания культурной элиты явилось светское гуманитарное образование, носившее для мужчин домашний и институциональный характер (Шляхетский кадетский корпус, Московский университет), а для женщин – домашний. Основой «общего» домашнего гуманитарного образования являлось изучение западноевропейских языков, в первую очередь, французского и немецкого. О характере такого образования можно судить, например, по мемуарам И. М. Долгорукова, автора перевода «Философских снов» Л.-С. Мерсье: «... вместе со мной обучались всему, разумеется кроме латыни, и сестры мои, приходя в возраст...мы воспитывались одинаково, тем же иждивением, тем же попечением» (цит. по: Словарь... 1988, 283). «Приобретение достойного понятия о правилах отечественного языка» было менее обычным для женщин, чем для мужчин, что подтверждается, например, воспоминаниями директора Академии наук и президента Российской академии Е. Р. Дашковой, явившей высший образец интеллигентской реализации русской женщины в XVIII в.: «Мой дядя ничего не жалел, чтоб дать своей дочери и мне лучших учителей, и, по понятиям того времени, мы получили наилучшее воспитание. Нас учили четырем разным языкам, мы говорили бегло по-французски, один статский советник выучил нас итальянскому языку, а Бектеев давал уроки русского, когда мы удостаивали их брать» (цит. по: Мордовцев 1994, 121).

Европейски ориентированное «языковое» образование, особенно женское образование, начало определять характер «культурной» разговорной речи, и, как следствие, характер литературного языка, его дистанционованность от литературно-языковых традиций. При этом «общественно-бытовой лабораторией, в которой вырабатывались нормы нового европеизированного светского слога, стал дворянский салон» (Виноградов 1982, 174). Так, например, К.Н. Батюшков подчеркивал прямую связь

литературного языка конца XVIII в. с разговорной речью дворянского салона: «...в лучшем обществе научились (писатели) угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно» (цит. по: Виноградов 1982, 174). Стиль же светского салона определялся именно «женским слогом», «женским щегольским наречием», «языком «светской дамы», освобожденным от груза канцеляризмов и славянизмов и организованным по французскому образцу» (Виноградов 1982, 152; см. также: Успенский 1985, 57). Характер образования и характер светской жизни определили и характер читательской аудитории, «оценивающим» центром которой снова оказывались женщины. Так, например, уже А. П. Сумароков посвящал свои эклоги, «наполненные любовным жаром и пишемые хорошим складом» «прекрасному народу женскому полу» (цит. по: Виноградов 1982, 151-152).

Овладение европейскими языками и «грамматическими правилами в русском слове», а также следовавшее за этим знакомство с европейской и русской словесностью позволили женщинам «выступить в свете» и в роли писательниц – «стихотвориц» и «литераторок». Явившись пространством женского образования, семья стала пространством, формирующим «женскую словесность»: в семье развивались литературные способности, поощрялась литературная деятельность женщин, свои литературные опыты женщины посвящали в основном членам семьи – родителям или мужьям. Так, например, Е.П. Демидова посвятила свой перевод «Духовых од и песен» X.-Ф. Геллерта родителям как «новый и первый плод своего воспитания», а княгиня В.В. Голицына посвятила свой перевод романа Б. Эмбера «Заблуждения от любви, или письма от Фанелии и Мильфорта» мужу, генералу С. Ф. Голицыну (Словарь...1988, 215, 249). Движение женщин в литературно-языковом времени XVIII в. происходило поэтапно: этап «ученичества», предполагавший прямое влияние видных литературных деятелей эпохи, задал саму возможность вхождения женщин в российскую словесность, этап «сотворчества» сделал это вхождение привычным, а этап «образцового» творчества позволил включать женщин-писательниц, потенциально и даже реально, в число «лучших» авторов. С течением времени менялся и путь «женской словесности» к читателям, а следовательно, и культурный вес в обществе: от случайных публикаций в журналах до целенаправленной издательской политики в рамках невиданной по своим масштабам просветительской книгоиздательской программы Н.И. Новикова: «Сей глубокомысленный писатель, изыскивая, а иногда, так сказать, сотворяя таланты и особливо в женщинах, ожидал от них весьма многоГО... «Грамотная мать, – говорил он, – и в игрушку будет давать своему дитяти книгу, а таким образом и мы пойдем вперед с молоком, а не с сединами...». В таком предположении он каждой даме, или девице, занимавшейся чтением русских книг, был всегда и другом и покровителем, и охотно предавал тиснению все их сочинения и переводы» (цит. по: Мордовцев 1994, 176). Динамическая культурная модель «семья – общество» обусловила ситуацию, при которой первыми входили в русскую литературу «авторские дочери, сестры и жены», т.е. женщины, связанные не просто духовными, а семейными узами с видными литературными и общественными деятелями России. Примеры именно такого творческого пути являются судьбы трех женщин – Екатерины Александровны Сума-

роковой-Княжниной, Елизаветы Васильевны Нероновой-Херасковой и Марии Васильевны Храповицкой-Сушковой.

Сумароков, идеолог дворянской просветительской культуры, считал своей задачей воспитание дворянства в гражданской и частной жизни, т.е. воспитание дворянина как человека чести и добродетелей, направленных на служение отечеству, и воспитание дворянина как человека разума и чувства. Инструментом воспитания и просвещения являлась литература классицизма, позволявшая в иерархически организованных жанровых вариантах культивировать и честь, и долг, и разум, и чувства. В свою очередь литература стала «опытным полем» развития русского литературного языка, который, по мнению поэта, должен был отличаться «чистотой», не допускавшей избыточности «славянизмов» и «галлицизмов», и рационалистической простотой стиля. В поэтическом языке были возможны «вольности», из системы которых Сумароков отдавал предпочтение «усечению» и «изъятию». Полагая, что «витийство лишнее» есть «злый враг» поэзии, он противопоставлял стихи, которые «приятности влекут, и шествия в свободе, в прекрасной простоте», тем, которые «естественному противны», «сияющи в притворной красоте, полны пустого звука». Считая себя «создателем русской литературы», Сумароков стремился показать своим современникам и оставить потомкам образцы всех видов литературы... писал песни, элегии, эклоги, басни, сатиры, эпистолы, сонеты, стансы, эпиграммы, мадrigалы, оды, «торжественные», «философические», «разные», не говоря о трагедиях, комедиях, операх...» (Гуковский 1999, 130, 144).

Огромный литературно-языковой опыт Сумароков стремился передать не только своим «литературным» ученикам, но и своей дочери Екатерине. Поэт сам учил дочь «грамоте, письму и стихотворству», заботился о том, чтобы она «больше думала о Парнасе, чем о танцевальных вечерах, о «пинтике» больше, чем о мушках и фижмах, говорила бы о стихотворстве и чистоте российского слога больше, чем занималась толками о петиметрах» (цит. по: Мордовцев 1994, 66). Усилия Сумарокова были не напрасны, ибо его дочь-«стихотворица, пинита», стала первой женщиной-писательницей в России, и именно ей принадлежит «честь введения русской женщины в круг деятелей мысли и слова».

Общность «служения музам» проявилась у поэта и у его дочери в любовной лирике, которая, подобно другим жанрам литературы классицизма, выполняла учительную функцию, показывая, как надо любить и как надо выражать свои чувства. И «пинит», и «пинита», по мнению Сумарокова, должны были представлять своеобразный лирический анализ одного избранного чувства – любви счастливой или любви несчастной. Для этого «лирического анализа» Сумароков использовал особый «язык любви»: формулы-обращения к возлюбленной(ому) – «дражайшая, любезная, моя драгая, мой милый, мой свет», метафорические формулы, определявшие «суть» любви – «взаимный жар души» «пламень в крови», формулы, определявшие значение любви – «люблю тебя жизни паче», «без любви все в свете суета», формулы, определявшие состояние человека «в любви» – борьба «рассудка и сердца», «свободы и неволи», «страсти и стыда», «радости и грусти», «покоя и муки»: «тревожусь и мечусь, грущу и унываю». При этом человек, от лица которого сочинялось любовное

стихотворение, должен был являть собою «отвлеченно построенный образ идеального возлюбленного», стихотворение могло быть написано и от лица мужчины и от лица женщины, поскольку «герой-мужчина столь же мало себя выражал, сколь и героиня-женщина» (Гуковский 1999, 148). Только лишь правила приличия заставляли Сумарокова рекомендовать дочери писать любовные стихи от имени мужчины и, следовательно, не подпisyвать стихи своим именем: «благовоспитанная стихотворица девица должна только думать о мастерстве в стихах, а не об изъяснениях полюбовных» (цит. по: Мордовцев 1994, 66). Подобно своему отцу Екатерина Сумарокова представляла в любовных стихах обобщенный образ влюбленного человека и давала детальное «разумное» рассмотрение его чувств, используя выработанный «язык любви» и принятую поэтическую технику. Единство поэтики и анонимность отдельных стихов приводили к тому, что авторство одного и того же стихотворения могло приписываться в истории русской литературы то Сумарокову, то его дочери. Примером такого «неопределенного» лирического «сочинения» является стихотворение «*Тщетно я скрываю сердца скорби люты*» (ср. Гуковский 1994, 149 // Лиры и трубы... под ред. Благого 1973, 110), в котором представлен свойственный жанру «опыт тайной» любви как «бесплодного пламени сердца», как «томления рассудка», как борьбы «страсти» и «стыда», «свободы» и «неволи», как синтез состояний – «тщусь, мятуся, крушуся, стыжусь», и в котором использованы привычные «поэтические вольности» – «усечение» («скорби люты», «злу долю») и «изъятие» («вображает», «вспаленной», «пременил»):

*Тщетно я скрываю сердца скорби люты,
Тщетно я спокойно кажусь:
Не могу спокойна быть я ни минуты,
Не могу, как много я ни тщусь.
Сердце тяжким стоном, очи током слезным
Извлекают тайну муки сей:
Ты мое старанье сделал бесполезным:
Ты, о хищник вольности моей!
Ввергнута тобою я в сию злу долю,
Ты спокойный дух мой возмутил,
Ты мою свободу пременил в неволю,
Ты утехи в горесть обратил,
И к лютейшей муке ты, того не зная,
Может быть, взыхаешь об иной,
Может быть, бесплодным пламенем сгорая,
Страждешь ею так, как я тобой.
Зреть тебя желаю, а узрев, мятуся
И боюсь, чтоб взор не изменил:
При тебе смущаюсь, без тебя крушуся,
Что не знаешь, сколько ты мне мил,
Стыд из сердца выгнать страсть мою стремится,
А любовь стремится выгнать стыд,
В сей жестокой браны мой рассудок тмится,
Сердце рвется, страждёт и горит.*

*Так из муки в муку я себя ввергаю,
И хочу открыться, и стыжусь,
И не знаю прямо, я чего желаю,
Только знаю то, что я крушусь.
Знаю, что всеместно пленна мысль тобою,
Вображает мне твой милый зрак,
Знаю, что, вспаленной страстию презлюю,
Мне забыть тебя нельзя никак.*

Сумароков не только обучил дочь «стихотворству», но и сделал ее своей союзницей в литературно-языковой деятельности и в литературно-языковой полемике, поэтому стихотворения Сумарокова и его дочери как бы находились в едином литературно-языковом «поле». Пример такого «единения» являются, например, стихотворения Сумарокова и его дочери, носящие одно название – «Против злодеев» и имеющие определенное тематическое тождество («Доколе будут люди Друг друга мучить и губить», «Злодеи, бойтесь, бойтесь Бога...» = «Ах, злодеи нас мучат нахально», «Правосудное небо воззри, Милосердие нам сотвори»), при различии сопровождающей его интонации (см. Русская литература...1990, 129; Моровцев 1994, 68):

А.П. Сумароков

*Ты ямбический стих во цвете
Жестоких к изъяснению дел
Явил, о Архилох, на свете
И первый слогом сим воспел!
Я, зляся, воспою с тобою,
Не в томной нежности стена:
Суровой взоглашу трубою...
Трохей, скройся от меня!
О нравы грубые! О веки!
Доколе будут люди
Друг друга мучить и губить,
И станут ли когда любить,
Не внемля праву мыслей злобых,
Свой род и всем себе подобных,
Без лести почитая в них
Свой образ и себя самих?
В пустынях диких обитая,
Нравоучений не читая,
Имея меньшие умы,
Свирыны звери, нежель мы,
Друг друга большие почитая,
Хотя не мудро говорят,
Все нас разумнее творят.
Ни Страшный суд, ни мрачность вечна,
Ни срам, ни мука бесконечна,*

*Ни совести горящий глас
Не могут воздержати нас.
Злодеи, бойтесь, бойтесь Бога.
И всемогущего творца!
Страшитесь судьи в нем строга,
Когда забыли в нем отца!*

Е.А. Сумарокова

*На морских берегах я сижу,
Не в пространное море гляжу,
А на небо глаза возвожу,
Стон пуская в селение далью.
Сердце жалобы к небу возносит печально:
Ах, злодеи нас мучат нахально!
Правосудное небо взори,
Милосердие нам сотвори
И все действия мои разбери.
Во всей жизни минуту я кажду
Утесняюсь гонимый и стражду,
Многократно я алчу и жажду!
Иль на свет я рожден для того,
Чтоб гоним был, не зная для чего,
Чтоб не трогал мой стон никого?
В день и в ночь мной тоска обладает,
Томно сердце всесильно рыдает,-
Иль не будет напастям конца?
Вотию ко престолу творца:
Умягчи, Боже, злые сердца!*

«Пламенная любительница муз», Екатерина Сумарокова, воспринималась в обществе с любопытством и осторожностью: «...по тогдашнему образу мыслей большая часть из ее современниц, предупрежденных не в пользу наук для женщины, боялись сказать лишнее слово. Но зато с такой образованной девушкою охотно говорили Ломоносов и Шувалов» (Мордовцев 1994, 64-65). Я. Б. Княжнин, автор классических трагедий, идеолог гражданского революционного классицизма, проповедник великих идей свободы, «один осмелился показать любезное расположение к образованной дочери Сумарокова... он был от Сумароковой без ума ... весь двор знал, что он советовался о своих стихах с будущею своей супругою, что он поправлял ей стихи» (Мордовцев 1994, 67). Сменив положение «авторской дочери» на положение «авторской жены», Сумарокова-Княжнина стала центром одного из самых интересных литературных салонов, в котором не просто собирались писатели и любители театра, а в котором формировалось мировоззрение передовой дворянской элиты.

Подобно Княжнину, М. М. Херасков избрал себе супругу «из наиболее развитых девушек своего круга, из того разряда женщин, которые не только становились под знамя своего времени, но усердно несли в своих руках это

зnamя» (Мордовцев 1994, 167): его избранницей стала Елизавета Неронова, которая, по воспоминанию современников, «умела пленить нашего поэта своей любезностью и талантом своим в поэзии» (цит. по: Русская литература...1990, 667). Будущая жена Хераскова была литературной ученицей Сумарокова, именно к ней были обращены поэтические строки, содержащие программные литературно-языковые установки поэта: «Чувствуй точно, мысли ясно, пой ты просто и согласно» (цит. по: Гуковский 1999, 130). Когда его ученица вышла замуж за Хераскова, «Сумароков в поздравительном письме своем к ней, новобрачной, щекотал ее самолюбие, говоря, что для женщины ничего нет выгоднее, как быть супругой человека ученого, что вместе со славой мужа ученого никогда не умрет и ее память, что в самых поздних веках прочтут еще «а супруга такого-то была такая-то» (Мордовцев 1994, 167). Литературный союзник Хераскова, В. И. Майков, по свидетельству современников, напротив, высказывал сомнения в литературных способностях Херасковой, как и в талантах других «авторских жен и дочерей»: «Отважный творец «Елисея» всегда объявлял спор против наших тогдашних женщин-авторов, жен и дочерей авторских, он решительно говорил: «Хорошо, весьма не худо, да вот беда: за жен мужья, а за дщерей родители. Хераскова щегольская барыняка, да если б писать ей, то у мужа не было бы и щей хороших, он пишет, она пишет, а кто же щи-то сварит?» (цит. по: Мордовцев 1994, 168-169). Однако Хераскова не потеряла в замужестве своей творческой самостоятельности и оказалась достойной литературной союзницей и мудрой супругой общепризнанного корифея и учителя дворянской литературы. XVIII в.

Литературный преемник Сумарокова, Херасков, понимал задачу воспитания дворянства как задачу нравственную – «истреблять моральное зло, прежде всего в себе самом», т.е. он «выбрал путь своего рода разобществления поэзии» (Благой 1972, 73): «Тружусь добродетель В стихах превознесть, Того я радетель, То славлю за честь...» (цит. по: Русская литература... 1990, 195). Исходная идея определила особенность поэтики Хераскова и его школы, писателей, объединившихся вокруг Московского университета: «соединение прямой моральной проповеди с лирическим эмоциональным выражением темы.... в чисто лирические жанры, например, в элегию, повествовавшую до тех пор о любовных страданиях, проникают поучения на тему о серьезном отношении к браку, о свободе чувства... в свою очередь нравоучительная ода... строится как лирическое размыщение, а не как сухой урок морали» (Гуковский 1999, 155). Поскольку поэзия рассматривалась как «дело» интимное, личное, душевное, доминирующими стали темы, центром которых был человек, познающий духовный и тварный мир, – темы религии, природы, любви и дружбы. Язык нравоучительной, «философической» лирики Хераскова строился на оппозиции «предметных слов»: «тварь / Творец» («измученная тварь ...спасенья от Твоей щедроты ожидает»), «вечность / время» («и минутою минута истребляется всегда»), «суетность тварной жизни / значимость духовного бытия» («богатство, слава, пышность дух колеблет и сметает»), «жизнь / смерть» («все умираем, вот родимся для чего»), «добродетели / пороки» («книга и добра и зла»). Сумароковская идея «чистоты» языка распространялась уже не только на лексику, но и на синтаксис, т.е. наряду с «чистотой слова» требовалась «чистота слога» и

«приятность» интонации, призванная дать образцы «культурной» разговорной речи. Новым явилась также разрешение «изысканности» поэтической техники, «поэтической игры» антitezами, параллелизмами, вопросительными и восклицательными конструкциями. Российская поэзия, становясь своеобразной «совершенной формой» салонной беседы, приближалась тем самым к европейской модели Просвещения: «грамматический пуризм, отточенность семантики, игра смыслами и неожиданность выражений составляют прелест салонной беседы... «неприличность» энергической речи, сильных интонаций и простонародных выражений из нее изгоняется» (Лотман 2002, 381).

Поддерживая культурные и литературно-языковые устремления супруга, Хераскова также отдавала предпочтение в своей лирике «вечным» темам – бренности земного существования, ничтожности тварных забот, любви и дружбы как божественных даров. При этом сложность темы соединялась у нее с легкостью стиха, особо отмеченной Н. И. Новиковым: «Слог ее чист, текущ, приятен и заключает в себе особливые красоты» (Новиков 1951, 360). Такое единение «нравственного» и «языкового» «урока» можно видеть, например, в стихотворении «Надежда», в котором предстает тема надежды как духовной связи между Богом и смертным страждущим человеком, а также демонстрируется изящество именных и глагольных рифм, искусное вплетение обращений, минимальное введение «усечений» как основных «поэтических вольностей» («смерть жестоку», «мучительны часы»):

*О дар, великий дар, от Бога данный нам,
Надежда, ты наш век плачевный услаждаешь,
Сколь много за тебя мы должны небесам!
Ты всех печалей нас и горестей лишаешь.
Гонимый, страждущий на свете человек,
Который осужден терпеть беды, напасти,
Надеждой усладя мучительный свой век,
С терпеньем ждет своей премены лютой части.
Иной жестокою болезнью отягчен,
Которая не дает на час ему покоя.
Надеждой льстится он, что будет облегчен,
И, тем ласкаяся, не мучится тоскою.
Влюбясь в несклонную, любовник слезы ляет,
В награду за любовь суровость зрит всечасно,
Надежда в горести отраду подает
И льстится тем, что он страдает не напрасно.
Невольник, что на смерть жестоку осужден,
В темнице и в цепях кончины ожидает:
Надеждой льстится, он, что будет свободжен,
Мучительны часы сей мыслью услаждает.
Все наши горести и лютую напаст
Надеждою одной мы только уменьшаем,
Над сердцем и душой она имеет власть,
Мы ею горести и скуку отвращаем.*

Супруги Херасковы публиковали свои сочинения в журналах Московского университета: скрывая и открывая себя в подписях-инициалах «М.Х» и «Е.Х», они вели развернутую во времени «философическую» «поэтическую беседу», их стихотворения являлись своеобразными репликами, обращенными одновременно к любому человеку и друг к другу :

«Сонет», Е.Х.

(«Полезное увеселение», 1761, июнь)

*К чему желаешь ты, о смертный, долгий век?
Довольно сносишь ты и в кратку жизнь напасти.
Родимся мы в слезах, растем покорны власти.
В младых днях чувствует досаду человек.
Те дни все протекут, как ток быстрейших рек -
Твой дух тревожить вдруг начнут различны страсти,
В мученьи станешь ты другой жеслати части,
Чтоб рок твою напаст и горесть пересек.
Вдруг старость все твои желанья уничтожит,
К напастям и бедам болезни приумножит:
Она надежду всю со днями унесет.
Весь век наполнен наши мученьем и тоскою.
Ничто нас в жизни сей от бедства не спасет.
О смерть! В тебе одной ищу себе покою.*

«Время» М.Х.

(«Полезное увеселение», 1761, ноябрь)

*...Трудится человек и жизнь в трудах теряет,
Но время все дела людские пожирает.
Хоть в память мы свою прошедшее берем,
Но память та умрет и с нею мы умрем.
На что имением и славою взносится,
На что науками и счастием гордиться.
И титлы и умы удобно время стерть,
Всех обища в свете часть: забвение и смерть.*

Херасковы пропагандировали идеал культурных и свободных людей, стремящихся к моральному совершенствованию, не только своим литературно-языковым творчеством, но и примером своей частной жизни: в доме их была атмосфера высших культурных интересов, поэтому салоны Херасковых воспринимались современниками не просто как «беседы об искусстве и чтение новых литературных произведений», а как «некое моральное служение, довольно отвлеченнное, но все же по-своему повышенное» (Гуковский 1999, 165).

Литературной ученицей Сумарокова была и переводчица Мария Васильевна Храповицкая-Сушкова, сестра Александра Васильевича Храповицкого, автора «Памятных записок», дающих обширный материал о внешней и внутренней политике Екатерины II. Получив традиционное

«языковое» образование, Храповицкая в совершенстве владела тремя западноевропейскими языками – французским, итальянским и немецким. По собственному желанию она захотела знать также «хорошо правила отечественного языка» и попросила брата быть ее учителем: «...братья сделался руководителем ее по ознакомлению с грамматическими правилами в русском языке... за привязанность свою к чужим языкам она боялась штрафования «Тилемахидою», особенно грозною для разборчивых приверженцев к чтению иностранных книг» (Мордовцев 1994, 164). Получив достаточное представление о литературно-языковых нормах, Храповицкая вместе с братом стала сотрудникой издававшегося Сумароковым журнала «И то и се», затем вместе с братом она написала трагедию «Идамант». Екатерина II, познакомившись с трагедией, похвалила авторов, но все же указала на необходимость больше «советоваться» с Сумароковым. В 1778 г. Храповицкая самостоятельно перевела знаменитый роман Мармонтеля «Инки, или разрушение перуанской империи», при этом перевод выдержал четыре издания – 1778 г., 1782 г., 1801 г., 1819 г. В России не было такой библиотеки, которой «этот роман не служил бы украшением... роман был педагогическою книгою для всякого образованного семейства, потому что по переводу Храповицкой учились дети как по образцовому руководству и в отношении языка, и в отношении развития мысли и вкуса учащихся» (Мордовцев 1994, 167).

Именно переводная литература, один из лучших образцов которой представила обществу Храповицкая, являлась основной сферой литературной деятельности женщин, поскольку она была мотивирована характером их образования и образом всей жизни. Переведенные женщинами литературные произведения, «достойные похвалы по выбору», охватывали все основные жанры литературы: духовные оды («Духовные оды и песни» Х. Ф. Геллерта, переведенные с немецкого языка в 1782 г. Елизаветой Петровной Демидовой-Чичериной), романы и повести (роман Б. Эмбера «Заблуждение от любви, или Письма от Фанелии и Мильфорта», переведенный с французского языка в 1791 г. Варварой Васильевной Энгельгардт-Голицыной, «аллегорические и чувствительные» повести, переведенные с немецкого языка в 1787 г. Елизаветой Петровной Демидовой-Чичериной), драмы (драма Вольтера «Сократ», переведенная с французского языка в 1774 г. Евдокией Федоровной Болтиной, драма Ш.-А. Де Лонгейля «Сирота англинская», переведенная в 1787 г. Пелагеей Ивановной Вельяшевой-Волынцевой), комедии (комедия Л. Буасси «Французы в Лондоне», переведенная с французского языка в 1782 г. Пелагеей Ивановной Вельяшевой-Волынцевой). При этом особое значение имели драматургические произведения, которые, «хотя и не были на сцене театров, но по крайней мере их читывали с удовольствием» (Словарь... 1988, 147). Помимо собственно литературных произведений, женщины переводили исторические и научно-популярные сочинения. Так, например, сестры Анна и Екатерина Волконские перевели с французского языка компилятивный труд «Рассуждения о разных предметах природы, художеств и наук», который давал разнообразные сведения из области «естественных, политических и моральных наук». Об учености сестер одобрительно отзывался Д. И. Фонвизин, сравнив их с Софьей, героиней своей комедии «Недоросль»: «при изображении моей последней Софьи я

еще весьма мало задал ей ученость наши россиянки начали уже и сами знакомить нас с Бонетами и Бюффонами» (цит по Мордовцев 1994, 179)

Осуществляя переводческую деятельность, женщины вносили свой немалый вклад и в «разрешение проблемы внутренних соотношений между русским и западноевропейскими языками» (Виноградов 1982, 167), поскольку достоинство многих переводов определялось достоинствами языка. Так, современники полагали, что драма Вольтера «Сократ» «должна быть уважаема в рассуждении материи, в ней находящейся, и в точности перевода», осуществленного Евдокией Болтиной (цит по Словарь 1988, 119). Равным образом Г Р Державин рекомендовал Хераскову прочесть перевод романа Б Эмбера «Заблуждение от любви, или Письма от Фанелии и Мильфорта», переведенный Варварой Голицыной, «поскольку он послужит многим указкою и по выбору, и по слогу» (цит по Словарь 1988, 216). Профессор Н Я Озерецковский также одобрил перевод сестер Волконских за язык, т.e. за умение справиться с ученой терминологией, которая не была выработана (Мордовцев 1994, 179, Словарь 1988, 173). Сформировавшаяся традиция «женской словесности» определила мнение, согласно которому именно благодаря «влиянию языка наших литераторов на жесткий слог тогдашней нашей прозы, сия последняя начала смягчаться» (цит по Мордовцев 1994, 176).

Развернувшаяся на рубеже XVIII-XIX вв. литературно-языковая борьба сторонников традиции и сторонников новаций мотивировала принципиально разное отношение к литературно-языковой деятельности женщин. Так, А С Шишков, утверждая «природную» связь русского литературного языка с церковнославянским языком, не считал женщин активными участниками современного литературно-языкового процесса, поскольку они не являлись носителями традиционной культуры и «редко бывают сочинительницами» (цит по Успенский 1985, 60). Напротив, ориентированная на западноевропейскую модель «феминизация языка и культуры» (Успенский 1985, 58), характерная для карамзинистов, проявлялась не только в требованиях ориентации литературного русского языка на разговорную речь женщин, не только в представлении женщин как образцовой читательской аудитории, но и в признании женщин законодателями языковых норм и образовыми писателями. Так, Н М Карамзин в «Письмах русского пугещественника» подчеркивал, что надо, «чтобы наши умные светские люди, особливо красавицы, поискали в нем выражения для своих мыслей» (Карамзин 1984, 338). Равным образом, П И Макаров в программной статье «Некоторые мысли издателей Меркурия» утверждал, что «для соглашения книжного нашего языка с языком хорошего общества – мы хотели бы, чтобы Женщины занимались Литературою, от тонкого их вкуса, от пылкого их воображения, от нежной их души ожидали хороших авторов» (цит по Успенский 1985, 59).

Таким образом, просветительский XVIII век в России вывел женщину из состояния «культурного молчания» и сделал ее не только субъектом гражданского общества, но и субъектом «культурного общества».

Литература

- Благой Д , 1972 *От Кантемира до наших дней* Москва
- Виноградов, В В , 1982 *Очерки по истории русского литературного языка XVII XVIII веков* Москва
- Гуковский, Г А , 1999 *Русская литература XVIII века* Москва
- Живов, В М , 1996 *Язык и культура в России XVIII века* Москва
- Карамзин, Н М , 1984 *Письма русского путешественника* Ленинград
- Лиры и трубы 1973 Под ред. Д Благого Москва
- Лотман, Ю М , 2002 *История и типология русской культуры* Москва
- Мордовцев, Д Л , 1994 *Замечательные исторические женщины на Руси* Калининград
- Новиков, Н М , 1951 *Избранные сочинения* Москва-Ленинград
- Русская литература XVIII века*, 1990 Москва
- Словарь русских писателей XVIII века* Выпуск 1, 1988 Ленинград
- Степенная книга*, 1908 // ПСРЛ, Т 21 Ч 1 С 206 220
- Успенский, Б А , 1985 *Из истории русского литературного языка* Москва